

# ГАЛИНА СОКОЛОВА

## ОДОЛЕНЬ-ТРАВА рассказ

Когда Иванко открыл глаза, небо уже пылало, и валялся он среди влажноватых зарослей ольшаника в заляпанных грязью шароварах и без шапки. Внюхиваясь в пронизывающий запах сырой земли, никак не мог он вспомнить, почему оказался здесь. Карый его жеребчик обмахнулся хвостом и тоже уставился на хозяина с недоумением. Кроме жгучего чувства какой-то потери, в памяти не всплывало никаких событий, участником которых он мог быть – ощущения имели бы место при обстоятельствах самых разных. Он опёрся на ладони и сел, глядясь в нечто бугрившееся среди белесых корней. Не шапка ли? Нет, вроде как две руки – мужская и женская – тянутся друг другу. Дотянуться не могут. Чувство безотчётной скорби усилилось, мешая сосредоточиться. Стоп! Это же ятрышник. Одолень-трава! – схватился он за грудь, где висела ладанка с растёртыми головками сухих кувшинок. «А во чистом поле растёт одолень-трава, – возник в его голове знакомый шёпоток. – Одолей ты злых людей: лихо бы обо мне не подумали, скверного бы не помыслили...».

– Боже правый! Мотря! Как же это?! – его внезапный вскрик спугнул угрюмую тишину леса. Он упал в траву и завыл. Безнадёжно и горько. Так воют собаки...

А лес взирал на него с немymi безликим участием – дела людские его не касались. Паныча этого он знал – купался тот всегда голышом в здешней протоке. Он вообще любил купаться. В реке, в ставке, а чаще здесь, в озерце, заросшем жёлтыми кувшинками. В мае, на пасху, когда, надев мину благочестия, бурсаки рванули по хуторам за колбасами да крашенками, он со всех ног маханул сюда. На свой хутор, где ни жестокой «кучи-маль», ни незуитской игры «в камешки». Образование почиталось родителями важней подобных пустяков. «Терпи, казак, атаманом будешь!» – отмахивался от его жалоб отец, живший чаще в шатре, чем дома. «Кулаками махать и холоп умеет, – отговаривала Ивана от мести и мать. – Трезвым разумом действуй». И гордо вскидывала покрытую батистовым рантухом голову – сам король Сигизмунд II Август жаловал им хутор. «Тебе, сынку, не с чернью цапаться, а шпагой владеть». Вот и стал ему люб томик стихов Анакреонта взамен привычного бурсакам шинка. Да ещё эта благостная вода цвета забродившего кваса. Хотя с тех пор, как впервые увидел её, свою... Свою? Свою ли?! Ивану нет и тринадцати, а она – мужняя жена. Ещё и не кого-то, а самого гетмана! Равнодушный с тех пор к потехам однокашников, он укладывался на ночь с единственной мыслью – нырнуть в забытьё, куда тут же являлась она, в парче-золоте и в сияющей диадеме над белоснежным лбом. И, размахивая ветками лавра, начинала читать ему Анакреонта. А отважный единорог затапывал насмерть клыкастого дракона. Только одному Ивану известно – и единорога, и дракона он видел на бердыше казака-охранника той ясновельможной пани, что являлась ему теперь во сне.

Всего-то единожды зацепил он её глазом в путанице дворов Белой Церкви и с тех пор потерял покой. Бывало, в самый счастливый момент сна кто-то из шутников подносил к его носу увесистый кизяк, отчего у панночки вдруг отрастали копыта и хвост, и тогда он вскакивал и с яростью тузил обидчика. А тот, гримасничая и вихляясь, припечатывал его обидной латынью «*Aegri somnia*»<sup>1</sup> (сновиденья больного). И все покатывались со смеху.

Впрочем, так бы всё оно и забылось – любовь молодого что лёд весенний, тем более что видел Иванко свою панночку ещё на Святки. Но кто до срока разглядел узор на ковре Всевышнего?

... В тот раз он прибежал на озеро, когда проржавевшее за день солнце уже свалилось в листья кувшинок. В нагретом до отказа воздухе друг за дружкой гонялись стрижи и, хоть до темени далеко, в зелёной ярке уже бормотал докучный лягушечий хор. Иванко уже собрался скинуть сапоги, как вдруг... его глазам предстало нечто беломраморное, в сияющей копне волос, стянутых на макушке лентой. Совсем рядом. Диана? Леда?.. Нет, что-то знакомое. Тонкие брови, глаза... Неужели она?! Неужели та самая панночка?! Тонко выгнутые брови, точёный носик, достойный резца Фидия! «Здравствуй, владычица, в это жилище входящая! – забубнил он в восторге, стараясь придержать ухнувшее под колени сердце. – Лето, Артемида, Афина? Иль Афродите златая, иль славная родом Фемида?» (Анакреонт).

Он оторвал от неё глаза лишь на секунду, чтобы шугануть некстати расквакавшуюся лягушку. И в тот же миг кто-то, прежде скрытый зарослями, бухнулся в воду с шалым реготом:

– Попалась, голубушка!

Детина был мускулист и раж, даже одежда не помешала ему в два взмаха сграбастать лилейную богиню.

– Не смей!!! – неуклюже, по-собачьи, заплескал к нему Иванко, готовый загрызть его собственными зубами. Но несравненная уже извивалась большой золотистой рыбиной в жадных руках. Совсем непросто было одолеть эту могучую наяду, запутавшуюся, скорее, в своих волосах, чем в жилистых лапах обидчика. Незаметным движением она вывернулась и, толкнув несостоявшегося Лыбеда локтем, подхватила его тело в лягающихся бурках и – отшвырнула на отмель. Звонкий смех расколол повисшую над озером тишину. Обалдевший «Лыбедь» лишь моргал, глядя, как неспешно натягивает Леда на себя юбку и сушит тяжёлые, как плети водорослей, волосы.

– Пшёл вон, щенок, – будничным тоном кинула она ему, как если бы речь шла о чём-то несостоящем её внимания. Тот двинул прочь восвояси, что-то угрюмо бормоча себе под нос. И только тогда смятённый Иванко и сообразил укрыться за валуном – мокрые штаны облепили его со всем непотребством.

– Ты весь в тине, – не замечая его смущения, присела она рядом, с интересом его разглядывая. – Иди искупнись.

А у него возникла мысль, что она всё поняла про него – иначе с какой бы стати в её глазах металась искорка смеха, и... он даже сапоги не скинул. Так и сидели они, пока, кромсая воду, тонуло в осоке усталое солнце. Она, отжимая волосы, он – рассматривая большую зеленоватую лягушку.

– Лягве-то хорошо. Её никто не принудит замуж идти, – закрепила, наконец, она лентой пшеничную копну на затылке и посмотрела на Ивана прищуренными глазами цвета лягушечьей шкурки. Он сконфузился. Может, потому что была она не в карете, да к тому же без парчи и золота, и казак в кумаче с бердышом на плече уже не охранял её... И сидела совсем близко... Если осмелиться, можно даже потрогать край её юбки... Да ещё и семечки из кармана вынула. И щёлкала их мелкими, словно у мышки, зубами... Она уже не казалась ни Ледой, ни Дианой. Осязательная, она была почти домашней, немного напоминавшей мать. С той лишь разницей, что в оголённое, как у этой паненки, матернее плечо не хотелось вгрызться, как в сахарную головку. Чтобы потом смоктать его долго и сладостно. А в это – хотелось.

– Кто же принудил тебя... серденько моё? – отважился на вопрос Иван, вспомнив родительский наказ – и в королевских покоях держать себя на равных. Но тут же похолодел, представив её мгновенно потемневшие глаза и губы, которые вместе с семечковой кожурой выплунут: «Пшёл вон, щенок!».

– Ах, дытынько, ничего-то ты про меня не знаешь, – с проницательным сожалением посмотрела она в его лицо, будто понимая, что пережил он в те короткие минуты, когда наблюдал схватку в озере. – Ведь тот молокосос всюду за мной таскается, от него не спрячешься, не убережёшься... – Брови её были сдвинуты, но произнесла она это тоном совсем негрозыным, а как бы даже понимающим. – Да и не чужой он мне, Тимош-то. Он пасынок мой.

– Пасынок?! – Иванко вытер рукавом мгновенно вспотевшее лицо. Грызая семечки и бесцеремонно его, разглядывая, она засмеялась.

– Ну да.

И ему показалось, что она насмешничает – вот так-то, желторотик!

– Что ж ты... за старца-то пошла? Шла бы за молодого... – заставил он себя ухмыльнуться, жалея, что намочила в кармане люлька – вот взять бы да пустить ей дым в лицо. Но тут же сам себя одёрнул.

– За молодого? – она оценивающе прищурилась. – За тебя, что ли?

Стараясь не поднимать на неё глаз, хоть и очень хотелось, он стыдливо хмыкнул. Перед ним снова возникло её нагое тело, кое-где покрытое золотистым пушком.



– Пряткий ты, однако... – её голос приобрёл неуловимые нотки издёвки. Это рассердило, и он хмуро пропел, глядя, как лягушачьи шлепки разгоняют следы всё ещё бултыхавшегося солнца:

– Я, между прочим, тоже гетманом стану. И... – он загнулся, а потом неожиданно для себя брякнул: – И тебя у гетмана отыму. Вот те крест, отыму! – И сам испугался.

Её глаза плеснули смарагдовым огнём, и она опять показалась ему греческой богиней – наверное, такие же были у Афродиты.

– И что вы за народ? Все и всегда об одном – хоть стар, хоть млад... Или я макитра пустая? Или венник для горницы? – она горделиво повела плечами и воззрилась на него с вызовом. – Я вольная – кого хочу, того люблю, мне и ваш крест не указ.

– Это... чего-то не того... – опешил Иванко, хотя мысленно восхитился: «Ишь, какая!». Невольно пришло на ум вычитанное у Ксенофонта Коринфского: «Вы, жрицы богини Пито в богатом Коринфе! Возжгите благоухания перед изображением Афродиты и, призывая мать любви, умолите её не отказать нам в её небесной милости! И дай нам то блаженство, которым мы наслаждаемся, срывая нежный цвет вашей красоты».

– Да уж, отымешь! Подрасти только чуток. А как станешь гетманом, может, я и сама к тебе приду! – И озарила одной из тех улыбок, которыми так богаты знающие себе цену женщины.

– Подрасту, – хмуро пообещал он. И запустив в лягушку подвернувшейся под руку веткой, добавил: – Ты совсем молодая. А он старый уже. Отыму как пить дать.

– А ведь и то, – подняла она глаза, будто прикидывая, правду ли сказал. – От старых дураков молодым дуракам житья нет. Да вот беда – иной седой стоит кудрявчика, – и потрепала его по вихрастой голове. – А мне, если по правде, ни старый, ни молодой ни к чему – я и сама на многое гожа... – она взглянула на него уже без игры и вызова. – Если б не татарва да турки, меня бы в замуж никто бы не загнал. Да помочь мне, если что, некому. Я ведь сирота – никто не знает, откуда пришла, никто не знает, когда уйду.

От поугрюмевших облаков ниспадали тени, и вода, прежде медовая, укрывалась кисеёй голубиноного крыла. Уже забыв о паренке, панночка молча поправляла свалившийся с ноги черевичек, и стопа её походила на выгнувшуюся в танце басурманку – вернувшись с кордона, отец нарисовал такую на лабазе.

Он быстро перевёл глаза на тлеющую даль заката. День догорал.

– Куда ж уходить собралась, ясновельможная пани? – и поднялся во весь рост – одежда на нём высохла, теперь добру молодцу и себя показать не грех. Хоть ещё не вполне выкованный, был Иванко в мать-шляхтичку – кудрявый, ясноглазый, первый пушок над губой лишь подчёркивал нежность щёк. А чётко прорисованные мышцы уже кое-что да обещали – бурсаков бивал даже старше себя.

– Ой, не знаю. На Кудыкину гору! – она оглядела его с усмешкой, от которой ему почему-то стало жарко. – Может, назад вернуться.

Он шмыгнул носом и переступил с ноги на ногу.

– В Краков, поди? Говорят, ты шляхетского рода.

– Не в Краков, чего мне там? Католичкой-то меня Данилка-подचाпий сделал, когда у сотника отбил. А до того у меня своя вера была. Я Велесу огненное приношение носила – хлеб, молоко. Это Данилка принудил меня к католичеству. Потом уж после Данилки меня Богданка крестил – тот в свою веру. А мне чего артачиться, если у них сила? Перун-то всё равно главнее. Он и Данилкой правит, и Богданкой. И мной... Слышал, поди, как они тягались за меня? – в её словах проскользнула неприкрытая гордость – ей и лестно, и забавно было вспомнить двух дядек, что друг друга за чубы таскали.

– Ты не Данилкина, ты гетмана жена, – напомнил Иванко. – Полюбился, стало быть, сотник-то?

Она не отвечала долго. Он даже подумал, что ей не хочется рассказывать. Вообще-то, и он спросил просто, чтоб не молчать. Немного жутковато ему было. Скульптурное лицо панночки в угасающем свете казалось совсем смуглым. И глаза, что звёзды ранние. Ведьма-не ведьма... Прямо Агатоклея египетская. Иванко перекрестился. Впрочем, себя он тоже представил в роли Птолемея Филопатора.

– Мне не он, мне его жена полюбилась, – наконец отозвалась она просто и с неожиданной грустью. – Хворала она, бедная, а я к ним с Замковой горы пришла. В услужение. Ходила за ней. Травками всё отпаивала, – и замолкла, слушая всё более оголтелый лягушачий клир. – Сотник-то, сказывали, уж больно добрый да справедливый. А жена у него хворающая. Вот и удумала на ноги её поднять – я ведь много трав знаю: девясил, вербена, аир болотный... Меня на капище чему только ни учили. И заклинаний много переняла... Вот про одолень-траву, например. – Пальцы её мельтешили факелами кувшинок, и он невольно залюбовался их жёлтыми сполохами. – Ну как? Хороша работа? – накинув сплетённую диадему себе на лоб, то ли о венке, то ли о себе в венке спросила она, смотря в Ивана, как в зеркало.

– Хороша! – заверил тот, произвольно представив и себя героем-цезарем рядом с ней. В колеснице. Входящим в город, где ему навстречу несут венки золотые. Но, погружённая в свои мысли, она уже и за-была о нём. Глаза её потемнели, как колодцы в безлунную ночь, и будто в себя уплыли.

– Я и полы мела заговорённым венником, – прошептала она тихо, как если бы сама для себя. – И веток берёзы в купальские ночи для неё нарезала. И болезнь её на дерево перевела, – её губы зашептали что-то снова. Но сколько Иванко ни силился, не разобрал ничего, кроме «огневицы-трясовицы».

– Только... – она сокрушённо качнула головками кувшинок, обнявшими её волосы, – всё равно не уберегла. Не договорился ваш бог с нашим.

– Ты же крещёная, твоё имя в святцах есть.

– Не, я Мотроной записана, – запротестовала она. – Матушка меня Мотрей звала. А Еленой – Ганна, сотникова жена. В честь лягушки из сказки.

– Елена – то греческая царица была, в её честь.

– Не выдумывай, хлопче, – она почему-то заупорствовала. – Елена и есть лягушка. Царевна-лягушка. Мне ещё в детстве про неё сказывали. А... лягушки крещёнными не бывают! – Она рассмеялась, будто невесть что дурашливое сказала. Или монетки серебряные рассыпала.

– Да нет же, она дочка Зевса была, – Иванко решил тоже не сдаваться – всё-таки целый год в бурсе штаны просиживал! – Дочка Зевса и... и этой... царицы спартанской. Леды, – он покраснел и спрятал глаза – снова вспомнилось обнажённое тело панночки. – Та сотникова Ганна не про лягушку, она про настоящую Елену сказывала. Из-за неё даже война случилась. Один молодой, Парис его звали, отнял её у старого мужа. У Менелая. И тот на Париса того войной пошёл. Большая драка была. Долгая. – Иванко был горд, что и он горазд кое-что рассказать панночке!

– А у меня не война, – разочаровалась она. – У меня всего-то лях Данилка спалил хутор казака Богданки. И меня увёз. А потом Богданкины казаки меня отбили. Повертали.

– А ты что?

– А что я? Меня-то кто спрашивал? Это на Замковой горе я кого хотела, того любила. А у вас, хочу не хочу, а замуж иди. У вас я супротив хоть панов, хоть казаков – никто. Лях католичкой сделал, а казак – православной. А всё, чтоб в жены взять, – она хихикнула. – Я ведь, когда меня с Богданом-то венчали, и знать про то не знала. Без меня всё было.

– Это как же – без тебя? – оторопел Иванко. – Этак не бывает.

Она прыснула и, как малому дитю, взъерошила его волосы.

– Делов-то! Богдан тогда с брани как развертелся и пьянствовал с одним попом. К его войску поп прибился. Патриарх Иерусалимский Паисий какой-то... Не слышал? А и никто не слышал. Тыща золотых и шесть лошадей на дороге не валяются – чего не обвенчать, якщо гетман просит? И обвенчал. Без меня. Хотя я, вообще-то с Данилкой венчана и во всех книгах записана. Потому – двумужница я, – на этот раз она, как и подобает по чину, приложила усилия, чтоб усмехнуться сдержанно, но было видно, что внутри себя она изнемогает от смеха. – Брак-то мой с Богданом, выходит, ненастоящий! – пояснила она сбито-му с толку пареньку.

– Стало быть, ты вольная? – обрадованный Иванко чуть не заплясал на месте.

– А то как посмотреть, – ушла она от ответа, наблюдая быстро густеющие сумерки. И вдруг с задиристостью спросила: – А что, та царица... Елена которая. Неужто так хороша была?

– Некраше тебя, ясновельможная! – порывисто заверил её Иван. Вечерняя тень, скрывавшая их всё больше, придала ему смелости. – Был такой поэт. Цедрений. Он писал: «У неё большие глаза, в которых светится необыкновенная кротость». И ещё писал про её «пурпуровый ротик, сулящий самые сладкие поцелуи, и божественная грудь».

Она насмешливо фыркнула:

– Ротик. Глаза... Я лучше! – и стянула ленту с рассыпавшихся волос. С мгновенье, подержав возле своих губ свалившийся веночек, она водрузила его на голову Ивана. – Береги! Это Одолень-трава. Я сюда свою силу влила. Она защитит тебя, когда за булавой отправишься. Туда дорога длинная, охотников много. Дай-ка пядь.

Он несмело протянул ей ладонь, и её дыханье защекотало его запястье. Она долго глядялась.

– Плохо видно... Но одно скажу – гетманом тебе и вправду быть. И булава с тобой до смерти останется. И... – она окинула его протяжным, как бесконечная дорога, взглядом – так смотрят, когда прощаются навечно. И улыбнулась одними уголками губ: – И... много женщин любить тебя будут!

– Я не хочу никаких женщин! – пылако перебил он её, потому что от этих слов повеяло чем-то, от чего



волна жара поднялась к самому его сердцу – то ли мчащейся татарской конницей, то ли непробудной чернотой турецкого плена, то ли бешено пульсирующим кровотоком, который и застлал глаза.

– Ты ещё дытына, а года как вода, протекут – не заметишь, – произнесла она почему-то устало, как если бы было ей лет сто и уже давно знала она то, что ткут для людей слепые Мойры. – Вот только цену жизни узнаешь, когда её потеряешь. Но мёртвому ведь и могила не страшна.

Её плечи заколыхались от сдавленного смеха, но ему почему-то стало ещё страшнее. Он вдруг ощутил внутри себя тугую спираль, которая сначала как бы слегка шевельнулась, а потом стала медленно развёртываться, всё убыстряясь и убыстряясь, и придержать её у него не было уже, ни сил, ни времени.

– А ведь идти пора... – притянула она его лоб обеими руками к себе. И поцеловала, опять опалив его горячим своим дыханьем. – Ты только имя моё не забудь, Мотрей приду к тебе.

– Завтра?

– Не знаю. Может, и завтра, – она прислушалась к пузырящейся паром воде, где продолжали неистовствовать лягушки, и с долей лукавства пообещала, – Может, завтра. А может... через полвека. Жди. Приду.

Глаза её опять смеялись, и у Ивана отлегло от сердца, он снова ощутил все ароматы вечера. Вот шалфей. Лаванда. А это тысячелистник – солдатская трава. Она кровь останавливает...

– Прощай, Иван-Царевич.

– До завтра, Елена Прекрасная!

– Мотря я.

\*\*\*

Но... не появилась она ни завтра, ни послезавтра. И через неделю не появилась. И уже казалось ему, что и не было той встречи на озере, что привиделась она ему, как было и до того много раз. Но... откуда же тогда венки из кувшинок, головки которого он засушил и схоронил в ладанке на груди?

...А этим утром и снегом сыпануло – май на исходе, а снег.

– «Жидовские кучки» вернулись, – греясь раскалённой трубкой, хохотнул старый казак из дозорных. В походы уже не ходил, только люльку курил да следил, куда ворона носом усядется. Если на север – жди непогоды.

– *Засвіт встали козаченьки*

*В похід з полуночі,* – дребезжал его надтреснутый, срывающийся в верхах тенорок. –

*Заплакала Марусянька*

*Свої ясні во-о-о-очі...*

– Когда вишни цветут, всегда холодно, – хмуро заметил Иванко, кутаясь в телогрейку. «Уж сегодня-то панночка точно не придёт». Глядя в усатый профиль казака, он прикидывал, сколько же времени займёт добраться до Суботова. Получалось не так много. Тем паче, что конёк у него из баских, то бишь лихих – отец этой весной подарил. Но вот ладно ли будет отправиться без дозвола – знай родители по головке бы, пожалуй, не погладили. Но, знамо дело, охота пуще неволи: нужны были большие усилия, чтобы не думать о том, чего могло бы и не быть. Он и убеждал себя в этом, пока его буцефал, оглашая округу ржанием, нёс его по мёрзлому крутояру. Но, странное дело, чем ближе к заветной цели, тем почему-то тревожнее становилось на душе. Необъяснимое чувство катастрофы, проникая во все поры, наполняло его какой-то странной пустотой, в которой не было места надежде и от которой холодела спина, да и сам он становился безрадостен и пуст, как ковш у казака после вчерашней попойки. И когда уже возле самого въезда в Суботов его конёк, всхрапнув, заартачился, он уже не сомневался в недобром, так велика в нём оказалась гибкая способность проникать в невидимое. Он привстал в стременах и, стараясь казаться уверенней, спросил у казака, охранявшего ворота:

– Проехать дашь?

Тот разублабался с хитрецей, быстрыми глазами ощутив кунтуш паренька.

– Отчего ж не дать, если горилка есть.

Иванко вынул предусмотрительно завернутый в тряпицу пузырёк и протянул его, стараясь преодолеть своё худое предчувствие.

– Только ты это... – казак с криком отхлебнул из горлышка. – С коняки-то, милок, слезь – понесёт, не дай Господь, – и бережно заткнув горлышко, сунул за пазуху. После чего пыхнул люлькой. – С той стороны там у меня баба висит. Вчера повесили. Прямо на воротах, сразу и увидишь. Конёк у тебя молодой, испугаться может.



– Что за... баба? – стараясь не выдать обрушившегося на себя неба, спросил Иванко, чувствуя, что не удержат его ослабевшие то ли от холода, то ли шут знает отчего ноги.

– Да лиходейка одна. – С мгновенье поколебавшись, казак снова выволок из недр кунтуша горилку и ещё раз пригубил. – С казначеем на пару казну воровала.

У Ивана отлегло от сердца. К панночке такое относиться не могло.

– Полубовницей его была, – словоохотливо выкладывал казак. – С её наказу и в грех вошёл – бес попутал. – Он смачно харкнул и выгтер рот рукавом. – Если б не Тимош, всю скарбницу у гетмана растащили бы.

– Дознание вели? – поинтересовался Иванко, отпуская жеребца и собираясь толкнуть калитку.

– А Тимош и вёл – кому ж ещё-то! – было видно, что казака распирает словесная энергия. – Гетман на Бар пошёл, а грошей в скарбнице – тю-тю. А где гроши? – он весело подмигнул, и глаза его скрылись между седым кустариком бровей и усов. – Стало быть как заведено – Тимош его на дыбу, а тот, прости Господи, всё как на духу.

– На дыбу? – содрогнулся Иванко.

– Ну а куда ж его? – казак удивился. – На дыбу, само собой, а куда ж! Дыба, она, братец, кого хочешь разговорит.

– Так может... Может тот казак оговорил её?..

Дозорный подкрутил усы и ослабился.

– Может и оговорил... Дыба штука сурьёзная. Тебя б туды, ты б и маму свою оговорил – жить даже пташке малой охота, – он опять сунул люльку в рот и демонстративно затыкнулся. – У нас, у казаков, все грехи от баб, – с видом самым глубокомысленным изрёк он. – А тут – ещё и ляшка поганая.

– Ляшка? – из-под ног Ивана сначала качнулась, а потом куда-то отпрыгнула земля.

– Ну! А я про что гутарю? Её гетман у пана Чаплинского отбил. Втюрился! Говорю же – ведьма. На неё и Тимош запал было. Но того не проведё-ёшь... Э-э, хлопче, – кинулся он к сползавшему по загороду пареньку. – Ты чего?

Казак засуетился, на ходу вытаскивая заветное зелье.

– Глотни-ко, милоч, сразу и попустит...

...Она висела прямо возле калитки, на неправдоподобно жёлтеньком, будто сегодня покрашенном, тесе толщиной метров в пять. Голая. Всё сдвинулось и растворилось в глазах Ивана. Прекрасное её тело, утратив точность форм, как бы расплелось, а глаза, зелёные её глаза, недавно полыхавшие волшебным светом, казались теперь жёлтыми стекляшками. В ней уже не было ничего ни от Дианы, ни от Леды. И вообще от богини. На нереально жёлтой, будто краской намазанной, доске висела измученная окоченевшая женщина, и волокна верёвки врезались в посиневшую её шею, вывалив из глазниц залитые кровью белки. Иванко с ужасом смотрел на них. «Одолень-трава, одолень-трава!..», а самой – что же?.. Никогда... не будет? Полно! Разве эта окоченевшая женщина когда-то была той? Разве это та Елена Прекрасная, что обещала прийти к нему Мотрей?! Это какая-то другая. И непохожа вовсе... А есть ли имя у этой? Кто она?

Он выхватил из-за голенища нож – женщину надо было немедленно снять. И одеть. Или хотя бы накрыть кунтушом – холодно же!

– А ну не трожь! – совершенно обалдевший казак наставил на Ивана бердыш. – Ты чего, хлопче? Сдуришь?

– Ей же зябко! Холодно же! – издал что-то похожее на всхлип Иванко, оборотив к нему мокрое лицо и тщетно сияясь перерезать туую пеньку. – Озябла же! Дай ей глоток, пока я канат обрежу.

– А ну геть видсея! – казак решительно ухватил Ивана за шиворот.

– Что за шум, а драки нет? – усатое лицо с весёлыми глазами нависло над ними обоими.

– Ты... ты!!! – захрипел Иванко, рванувшись, чтобы вцепиться в его горло. – Ты!.. – чтобы бросить в эту наглуую рожу всё, что кишит в горячечном его мозгу, и... Но... с неба посыпались в клочья порванные, серые от стужи облака. И покатилося солнце. Мёртвое и стылое, как вчерашний блин...

– Пошёл вон, щеноч! – недобро скалясь, Тимош прикрепил к ремню украшенную резьбой пашку и, приметив, что ветер гоняет по кочкам сбитуую пашку, обронил обыденно:

– Его лошак? Посади – и пусть катится...



\*\*\*

...Безотрадно и страшно выл Иванко. А лес всё смотрел и смотрел на него с немым участием. Он знал много историй про людей. Но у леса свои заботы. А у людей – свои. У этого же хлопчика, он знал, впереди ещё долгая жизнь. И булава. И встреча с Ней. С Мотрей<sup>2</sup>. Он будет искать её в каждой. И она придёт.

Была эта любовь? Или не было её?? А кто может утверждать? Или опровергать? Может, была. Может, не было. Любовь... Это всего лишь слово, связка шести букв. Только мы и облакаем их в плоть. А что у нас на самом доньшке, право же, не всегда и самим нам известно. И сколько ни будет женщин у Иванки – будущего гетмана Ивана Степановича Мазепы, он не забудет её...

---

<sup>1</sup> Сновиденья больного (лат.)

<sup>2</sup> Елена (Мотрона) Чаплинская (ум. 1651) – вторая жена гетмана Богдана Хмельницкого.